



АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ
ГОЛУБЫЕ ГОРОДА

Литрес 

Алексей Николаевич Толстой

Голубые города

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5317701

ISBN 978-5-4467-0478-1

Аннотация

«Один из свидетелей, студент инженерного училища Семенов, дал неожиданные показания по наиболее туманному, но, как это выяснилось в дальнейшем, основному вопросу во всем следствии. То, что при первом знакомстве с обстоятельствами трагической ночи (с третьего на четвертое июля) казалось следователю непонятной, безумной выходкой, или, быть может, хитро задуманной симуляцией сумасшествия, теперь стало ключом ко всем разгадкам...»

Содержание

ДВА СЛОВА ВСТУПЛЕНИЯ	4
ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВАСИЛИИ АЛЕКСЕЕВИЧЕ БУЖЕНИНОВЕ	6
ЧЕРЕЗ СТО ЛЕТ	11
НАДЕЖДА ИВАНОВНА	16
УЕЗДНЫЙ ГОРОДОК	19
ПОДОШВЫ КАСАЮТСЯ ЗЕМЛИ	23
БЫТ, НРАВЫ И ПРОЧЕЕ	28
ПОКАЗАНИЯ ТОВ. ХОТЯИНЦЕВА ЗА РЕКОЙ	36
40	40
МЕЛКИЕ СОБЫТИЯ	44
ЖАРКИЕ ДНИ	51
ИЗ ОПРОСА НАДЕЖДЫ ИВАНОВНЫ	55
УБИЙСТВО УТЕВКИНА	58
КОРОБКА СПИЧЕК	62
НОЧЬ С ТРЕТЬЕГО НА ЧЕТВЕРТОЕ ИЮЛЯ	68

Алексей Толстой

ГОЛУБЫЕ ГОРОДА

ДВА СЛОВА ВСТУПЛЕНИЯ

Один из свидетелей, студент инженерного училища Семенов, дал неожиданные показания по наиболее туманному, но, как это выяснилось в дальнейшем, основному вопросу во всем следствии. То, что при первом знакомстве с обстоятельствами трагической ночи (с третьего на четвертое июля) казалось следователю непонятной, безумной выходкой, или, быть может, хитро задуманной симуляцией сумасшествия, теперь стало ключом ко всем разгадкам.

Ход следствия пришлось перестроить и вести его от финала трагедии от этого куска полотнища (три аршина на полтора), приколоченного на рассвете четвертого июля на площади уездного города к телеграфному столбу.

Преступление было совершено не сумасшедшим – это установили допрос и экспертиза. Вернее всего, преступник находился в состоянии крайнего умоисступления. Приколавывая на столб полотнище, он спрыгнул неловко, вывихнул ногу и лишился чувств. Это спасло ему жизнь, – толпа растерзала бы его. На допросе предварительного следствия он был чрезвычайно возбужден, но уже следователь губсуда за-

стал его успокоившимся и отдающим себе отчет в совершенном.

Все же из его ответов нельзя было составить ясной картины преступления, – она распадалась на куски. И только рассказ Семенова слепил все куски в одно целое. Перед следователем развернулась страстная повесть мучительной нетерпеливой и горячечной фантазии.

ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВАСИЛИИ АЛЕКСЕЕВИЧЕ БУЖЕНИНОВЕ

В стороне от станции Безенчук, Пугачевского ныне уезда, тянулся по широкой грязище красноармейский обоз. Кругом бурая степь, мокрые тучи над ней, вдали – тусклая, как трехсотлетняя тоска земли российской, щель просвета над краем степи да телеграфные столбы с подпорками в стороне от дороги. Было это осенью 1919 года.

Головная конная часть, сопровождавшая обоз, наткнулась в этой ветреной пустыне на следы недавнего боя: несколько дохлых лошадей, опрокинутая телега, десяток человеческих трупов без шинелей и сапог. Головной отряд, покосившись, проехал было мимо, но командир вдруг повернулся в седле и указал мокрой варежкой на телеграфный столб. Отряд остановился.

У столба, привалившись, сидел человек с пунцово-красным лицом и, не шевелясь, глядел на подъехавших. С обритого черепа его свисала окровавленная тряпка. Запекшиеся губы шевелились, будто он шептал про себя. Видимо, он делал страшные усилия, чтобы подняться, но сидел, как свинцовый. На рукаве у него была нашита красная звезда.

Когда двое всадников тяжело соскочили с коней и пошли

к нему, разъезжаясь по грязи, он быстро-быстро задвигал губами, безусое лицо сморщилось, глаза расширились, белые от ужаса, от гнева.

– Не хочу, не хочу, – едва слышно, поспешно бормотал этот человек, отойдите, не застилайте... Мешаете смотреть... Ну вас к черту... Мы же вас давно уничтожили... Не топчитесь перед глазами, не мешайте... Вот опять... С того холма через реку... Глядите же вы, собаки белогвардейские, обернитесь... Видите – мост над полгородом, арка, пролет – три километра... Из воздуха? Нет, нет, – это алюминий. И фонари по дуге на тончайших столбах, как иглы...

Человек бредил в жестоком сypняке и, видимо, принимал своих за врагов. От него так и не добились, что это был за отряд, десять человек из которого валялось у дороги. Сам он остался жить только оттого, что во время боя лежал раненый в телеге, валяющейся сейчас кверху колесами.

Его положили на воз с овсом. Вечером на станции Безенчук сделали перевязку и с ближайшим санитарным эшелонном отправили в Москву. Документы его были на имя Василия Алексеевича Буженинова, уроженца Смоленской губернии, двадцати одного года.

Человек этот остался жить. К весне он встал на ноги, а летом его снова бросили на фронт. С сотнями других, таких же как он, Буженинов входил и уходил из разоренных городов Украины; хоронился по орешникам и вишенникам, отстреливаясь от белых и зеленых; сиживал в звездные ночи

у костра над Доном; месил грязь в степях под осенним ветром, воющим уныло между ушами коня да по телеграфным проводам; бился в лихорадке в палящих песках Туркестана; ходил под Перекоп и в Польшу.

Все это впоследствии вспоминалось ему как сновидение. стычки, песни голодного брюха, перетянутого красноармейским кушаком, полуразбитые теплушки, мчавшиеся по равнинам, пылающие на горизонте крыши деревень, товарищи – то горластые и беззаботные, то бешено злые в бою, то присмившие с усталости и голода. Товарищи, как бегущие мимо вагона столбы и деревья, уходили из памяти, из зрения, уходили «домой», в землю. Разного человека в те годы не было, – были братишки. Вот он, братишка, обмотавший кусками ковра ноги – вместо сапог, таскает ложкой из котла кашу так, что желваки катаются на скулах, а к вечеру, гляди, лежит, уткнувшись, запустив окоченевшие пальцы в землю.

Вот отчего те годы вспоминались как сон.

Сведения о жизни Василия Алексеевича расплываются в тумане этих лет. Болен и ранен не был, в отпуску не бывал. Однажды Семенов встретил его в пограничном городке, в корчме, и за самогоном провел несколько часов в горячей беседе. Впоследствии Семенов рассказывал так об этой встрече:

– С Василием Бужениновым мы окончили одно училище, он был классом старше. Затем он поступил на архитектурные курсы в шестнадцатом году, а я в семнадцатом – в ин-

женерное.

В корчме мы стали вспоминать прошлое. Вдруг Буженинов вскочил, перекинулся. «Чего старье переворачивать, давай о другом. Сто лет прошло с тех пор. Я вот помню, как бабушка у нас в доме, в провинции, спички колола вместе с головкой на четыре части для экономии, – из одной коробки четыре коробки выгоняла. Вот так сэкономили! Две с половиной тысячи паровозов валяются под откосами. Я спрашиваю: война кончена, значит опять теперь спички на четыре части колоть? Возврата нет, старое под откос! Либо нам погибнуть к дьяволу, либо мы построим на местах, где по всей земле наши братишки догнивают, – построим роскошные города, могучие фабрики, посадим пышные сады... Для себя теперь строим... А для себя – великолепно, по-грандиозному...»

После демобилизации Василий Алексеевич поступил снова на архитектурные курсы и пробыл в Москве до весны 1924 года. Семенов рассказывает, что все это время Буженинов работал с каким-то даже исступлением. Питался впроголодь. Одно время, говорил, он ночевал в склепе на Донском кладбище. Женщин, разумеется, дичился. И носил на костлявых, сутулых плечах все ту же красноармейскую шинелишку, простреленную, в бурых пятнах, в которой его когда-то нашли в степях Пугачевского уезда.

В начале апреля Буженинов заболел нервным переутомлением. Семенов приютил его у себя на диване. Тогда же Бу-

женинов получил из уездного города, со своей родины, какое-то письмо и часто перечитывал его, будто оно было написано на мало понятном ему языке. Письмо страшно его волновало. Несколько раз он говорил, что должен побывать на родине, иначе во всю жизнь не простит себе. Очевидно, воображение его было также не в порядке.

Семенов собрал деньги между товарищами и купил Буженинову железнодорожный билет. Дня за два до его отъезда по случаю весенних дней была вечеринка, на которой Буженинов, захмелев, в крайнем возбуждении рассказал товарищам удивительную историю.

Рассказ его приводится здесь в том именно виде, каким был воспринят товарищами, плотно набившимися в комнату Семенова, когда за открытым окном над московскими крышами, над полосатыми от рекламных лент узкими улицами, над древними башнями, над прозрачными ветвями бульварных лип разлился синеватый свет вечера и пренебреженный поэтами всего Союза весенний месяц узким ледяным серпом стоял в вечерней пустыне.

ЧЕРЕЗ СТО ЛЕТ

«Четырнадцатого апреля 2024 года мне стукнуло сто двадцать шесть лет... Подождите скалиться, товарищи, я говорю очень серьезно... Я был ни стар, ни молод: седой, что считалось весьма красивым, – волосы отлива слоновой кости; угловатое свежее лицо; сильное тело, уверенное в движениях; легкая одежда, без швов, из шерсти и шелка; упругая обувь из кожи искусственных организмов – так называемой „сапожной культуры“, разводимой в питомниках Центральной Африки.

Все утро я работал в мастерской, затем принимал друзей и сейчас, в сумерки, вышел на террасу уступчатого дома, облокотился и глядел на Москву.

Полстолетия тому назад, когда я уже умирал глубоким стариком, правительство включило меня в „список молодости“. Попасть туда можно было только за чрезвычайные услуги, оказанные народу. Мне было сделано „полное омоложение“ по новейшей системе: меня заморозили в камере, наполненной азотом, и подвергли действию сильных магнитных токов, изменяющих самое молекулярное строение тела. Затем вся внутренняя секреция была освежена пересадкой обезьяньих желез.

Действительно, заслуги мои были значительны. С террасы, где я стоял, открывалась в синеватой мгле вечера часть

города, некогда пересеченная грязными переулками Тверской. Сейчас, уходя вниз, к пышным садам Москвы-реки, стояли в отдалении друг от друга уступчатые, в двенадцать этажей, дома из голубоватого цемента и стекла. Их окружали пересеченные дорожками цветники – роскошные ковры из цветов. Над этой живописью трудились знаменитые художники. С апреля до октября ковры цветников меняли окраску и рисунок.

Растениями и цветами были покрыты уступчатые, с зеркальными окнами, террасы домов. Ни труб, ни проволок над крышами, ни трамвайных столбов, ни афишных будок, ни экипажей на широких улицах, покрытых поверх мостовой плотным сизым газоном. Вся нервная система города перенесена под землю. Дурной воздух из домов уносился вентиляторами в подземные камеры-очистители. Под землю с сумасшедшей скоростью летели электрические поезда, перебрасывая в урочные часы население города в отдаленные районы фабрик, заводов, деловых учреждений, школ, университетов... В городе стояли только театры, цирки, залы зимнего спорта, обиходные магазины и клубы – огромные здания под стеклянными куполами.

Такова была построенная по моим планам Москва двадцать первого века. Весенняя влажность вилась в перспективах раскрытых улиц, между уходящими к звездам уступчатыми домами, и их очертания становились все более синими, все более легкими. Кое-где с неба падал узкий луч, и

на крышу садился аэроплан. Сумерки были насыщены музыкой радио – это в Тихом океане на острове играл оркестр вечернюю зорю.

Всего одно столетие отделяло нас от первых выстрелов гражданской войны. На земле шел сто седьмой год нового летосчисления. Демобилизованные химические заводы изменили суровые и дикие пространства. Там, где расстилались тундры и таежные болота, – на тысячи верст шумели хлебные поля. Залежи тяжелых металлов на севере, уран и торий, были наконец подвергнуты молекулярному распадению и освобождали гигантские запасы радиоактивной энергии. От северного к южному полюсу по тридцатому земному меридиану была проложена электромагнитная спираль. Она обошлась в четверть стоимости мировой войны четырнадцатого года. Электрическая энергия этой полярной спирали питала станции всего мира. Границ между поселениями народов больше не существовало. В небе плыли караваны товарных кораблей. Труд стал легким. Бесконечные круги прошлых веков борьбы за кусок хлеба эта унылая толчея истории – изучалась школьниками второй ступени. Мы свалили с себя груз, который тащили на кривых спинах. Мы выпрямились. Людям прошлого не понять этих новых ощущений свободы, силы и молодости.

Да, уверяю вас, жить стало большим счастьем, и земля стала желанным местом жизни. Так думал я, глядя с террасы на построенный мною город. В воздухе возник тонкий звук,

как бы от лопнувшей струны. Сигнал. И весь город залился светом электрических огней: убегающие к Москве-реке ряды круглых фонарей, фонари на террасах, и – потоки света с плоских крыш в лиловое небо. Мерцающим светлым яйцом возвышался на площади Революции стеклянный купол клуба. Низко и бесшумно ночной птицей нырнул сверху вниз мимо террасы аэроплан, и женский голос оттуда крикнул...»

.....

Буженинов оборвал рассказ и, смущенно, почти жалко улыбаясь, оглядел товарищей. В руке у него дрожал стакан с пивом...

– А что?.. Разве не за это мы пошли в восемнадцатом году умирать, товарищи? – проговорил он глуховатым голосом. – Помню, этим городом я в сыпняке бредил... В какой-то степи сижу у столба... Дождь... Мертвяки валяются... А за дождиком, из мокрых бурьянов просвечивают купола, дивные арки, вырастают дома уступами... Сейчас – закрою глаза и вижу... Эх! А мы время теряем, пиво пьем...

Не отхлебнув из стакана, он прилег на кровать, закрыл глаза. Землистое лицо его подергивалось. Начался спор. Буженинову говорили:

– Горячишься, Вася... С такой горячкой дела не сделаешь... Новую жизнь строить – не стихи писать. Тут железные законы экономики работают. Тут надо поколения перевоспитывать. А с утопсоциализмом, покуда рот разинул, тебя живо колесами переедут... Держи курс в мировую револю-

цию, а дни пока – все понедельники. С понедельником справиться потруднее, чем твой город построить...

На все эти разумные слова Буженинов, не открывая глаз, отвечал сквозь зубы:

– Знаю... Знаю...

Товарищи пошумели и разошлись на рассвете. Шестнадцатого утром Буженинов уехал на родину. Весь багаж его состоял из папки с чертежами и ящика с чертежными принадлежностями.

НАДЕЖДА ИВАНОВНА

Письмо, взволновавшее Буженинова, было от воспитанницы его матери, Надюши – Надежды Ивановны. Сидя у окна в вагоне, он еще раз перечитал его.

«Дорогой Вася, мы недавно узнали, что ты жив и даже учишься в Архитектурной академии. Мы очень обрадовались, главное тому, что ты жив. А ведь три года от тебя не было никаких вестей. Мне уже двадцать два года, я служу в Древлестре. Домик нам вернули в прошлом году, но пришлось сделать ремонт. Теперь у нас – корова, куры и даже индейки. Непременно пришли по почте семян для огорода. Мама очень плоха, оглохла и ничего не видит. С ней очень трудно – все сердится, все не так. На днях простудилась и теперь лежит. Ты бы приехал, а то боюсь, что больше не увидишь ее. Ко мне на масленицу сватался Утевкин, наш конторщик, но я отказала, потому что он ненадежный элемент. Мечтаю пойти на сцену, но, пока мама жива, это невозможно. Хотя Утевкин все повторяет, что у меня талант, но я считаю, что это одни подходы с его стороны. Так хочется жизни. Весна у нас в полном разгаре. Любящая тебя Надя».

Странное было письмо. Вроде сырой айвы: и как будто бы вкусное и скулы вяжет. Буженинов глядел, как за окном, за опускающимися и поднимающимися проволоками, лежали плоские озера вешней воды. Утро было мгlistое, солнце ви-

село оранжевым шаром над разливами. Приминая прошлогоднюю траву, текли ручьи из озера в озеро. Вдали из вод росли деревья, стога. На островках бродил скот, вертелись обтрепанные ветрами крылья мельницы. . .

Буженинов вышел на площадку вагона и глубоко, зажмурясь от острого наслаждения, вдохнул запах весенней земли и половодья. Подувал свежий ветерок. Проезжали станции, где в голых еще, высоких тополях кричали грачи, кружась над гнездами. Грачи кричали так тревожно, что больно стало сердцу. Он опять зажмурился, улыбаясь: казалось ужасно смешно, что Наде двадцать два года. А была подросток – милое лицо, голубые глазки, каштановые, как шелк, волосы, заплетенные в косу с бантом. Когда разговаривает – подходит близко, доверчиво, опустив худые руки, – глядит прямо в глаза.

Поезд, замедляя ход, проходил железнодорожным мостом. Глубоко внизу, через вздувшуюся, мутную реку двигалось на шестах древнее судно, полное скота, телег и баб. По всей видимости, корабль достался мужикам от варягов и плавал скоро уже две тысячи лет, развозя жителей в разлив по деревенькам.

Буженинов глядел в окно на рюриковы корабли, на озеро, на грачиные гнезда, на табунки овец, на топкие черные дороги – и мир представлялся ему прекрасным.

Как человек с повышенной чувствительностью, он видел в окружающем лишь то, что страстно хотел увидеть. Это была

почти галлюцинация наяву.

УЕЗДНЫЙ ГОРОДОК

Нам здесь нет надобности подробно рассказывать о немощных уличках, о гнилых заборах и воротах с лавочками для грызения подсолнухов, о заплатах досками домишках, где на подоконниках цветут герани в знак того, что «мол, как хотите, граждане, а насчет герани в конституции ничего прямо не сказано...»

Все знают, что такое уездный городок на берегу реки: базарная площадь, хлюпающая навозом, сенные весы, балаганы, вывеска кооператива над кирпичной лавкой; поп в глубоких калошах, пробирающийся, подобрав рясу, в проулок; милиционер, или, как выражаются на базаре сердитые бабы, «снегирь», стоит, поглядывает непонятно; старый сад бывшего предводителя дворянства, – теперь городской сад, – с гнездами на липах и тучей грачей, волнующих весенними криками некоторых девиц; ну, да еще пожарная каланча... И над тишиной, над этой бедностью – издалека долетающий свист поезда.

Идя пешком со станции, Василий Алексеевич на минуту – быть может, черт его знает, каким-то завитком – подумал: «Вот житье глухое!» – но продолжал быть все в том же восторженном настроении.

Деревянный домик матери, в четыре окна на улицу, врос за эти годы в землю, покривился, облупился. Но за пузырьча-

тыми стеклами в горшочках стояли герань и кактусы. Василий Алексеевич отворил калитку. Дворик был чистенький. На солнцепеке лежали рябенькие куры, и глядел на солнце голенастый петух, видимо очень глупый. У сарайчика старая женщина в солдатской шинели вешала кухонные полотенца. Она молча поклонилась Буженинову. Он взбежал по изгнившим ступеням на крыльцо, в темные сени, пропахшие плесенью и капустой, открыл знакомую дверь, – рогожа на ней висела ключьями, – отворил ее и в освещенном пролете двери, ведущей из крошечной, с половичком, прихожей в низенькую столовую, где мешчанским голосом щелкала ручная птица, – увидел Надю.

На ней была нагольная овчинная куртка, короткая юбка, белая косынка.

– Что вам нужно, гражданин? – спросила она, нахмуривая бровки.

Он назвал ее по имени, – от волнения ничего больше не проговорил. У нее задрожали выпущенные из-под косынки локончики. Брови разъехались. Всплеснув руками, она подошла к Буженинову, и сейчас же не то изумление, не то жалость скользнули по ее хорошенькому личику.

– Вася, неужели ты? – спросила она тихо.

Он поцеловал ее в холодноватую щеку. Прислонил к стене папки и ящик, размотал шарф, расстегнул крючки шинели, – пальцы его дрожали.

– А мама здорова?

– Мама сейчас спит.

– Ты собиралась куда-то уходить?

– На службу. Тебя чаем надо напоить. Я скажу Матрене.

Блеснув синими глазами, она убежала. Буженинов услышал ее голос на дворе, затем она прошла наискосок через улицу, выбирая, где ступить посуше, обернулась, морща нос от солнца, и юбка ее махнула за углом.

Василий Алексеевич перевел дух и сел у окна под клеткой, где шуршала семенем птица и снова, снова принималась от скуки нащелкивать все одну и ту же песенку про то, какая теперь Надя стала красивая, не подросток, а женщина, про то, какие у Нади тревожные глаза, кудрявые височки, как она махнула сейчас юбкой за углом. Птичий язык темен, всякий может толковать его по-своему. Буженинов глядел на пустырь, заборы, домишки, курил и вздыхал, как человек, осужденный на скверном полустанке ждать курьерского поезда... Он оглядывал комнату. Вот под этой висячей лампой он учился когда-то читать и писать. Вот пожелтевшая фотография: он – семи лет, Надя – девочка, и мать – в шляпке, с необыкновенно сердитым лицом. Вот, в шали и в тальме, сморщенная бабушка – та, что колола спички. От окна до облезлого комода, где Надины зеркальце, пудреница и баночка с кремом «Метаморфоза», – шагов пять. Смешно. А казалось – гораздо просторнее было дома. Под окном – бутылки, в которые стекает с подоконника вода по шерстяной нитке. Да, механика устарелая. Много придется затратить сил, что-

бы на этом убожестве вырос голубой город.

За стеной похрапывала мать. Затем вошла баба в шинели, поклонилась, сказала смиренно: «С приездом, батюшка-красавец». Накрыла стол, внесла знакомый, помятый, но страшно бойкий самовар. Василий Алексеевич пил чай, курил папиросы. Весь этот мещанский мирок был окутан волшебной песенкой птицы. За облаками самоварного пара она пела Буженинову о несказанном будущем.

ПОДОШВЫ КАСАЮТСЯ ЗЕМЛИ

Василий Алексеевич был ужасно молод. Ну, что же: семнадцати лет влез в броневик, мчавшийся вниз по Тверской к площади Революции. Воевал три года. Потом – академия, чертежные столы, склеп на Донском кладбище, сны наяву о голубых городах. Житейского опыта не было ни на грош.

И вдруг фантастический бег времени остановился. Подошвы царапнули и стали на землю. Заскрипела калитка, заговорили будничные голоса, запахло навозцем. Столетняя лохматая ворона прилетела из неподвижного неба, села против окна на забор: «Карр, здравствуйте, Василий Алексеевич, что думаете предпринять?»

Что же тут можно было предпринять? Вставать к одиннадцати часам, выпить чаю с топлеными сливками. Посидеть около глухой и слепой матери, которая все добивалась, не большевик ли он, Вася. Потом – погулять до обеда, посидеть над рекой. К пяти – вернуться, скрипнув калиткой... вытереть ноги о рогожку на крыльце... И у окна поджидать Надю, стараясь и виду не подать, что весь день он думал об этой радости: вот она прошла мимо окна, пошаркала ботиночками о рогожку, звонко крикнула: «Матрена, собирай обедать». Вошла с неизменной фразой: «Фу, как устала». Повесила на гвоздь в прихожей полушубочек, оправила платье, подставила прохладную щеку для поцелуя.

– Как ты себя чувствуешь? Лучше?

Матрена вносит чугунок со щами. Надя говорит:

– Ты ешь, не стесняйся, тебе надо поправляться.

После обеда Надя исчезала либо к подруге, либо в кинематограф, приглашенная «так, одним, ты его не знаешь». Василий Алексеевич садился в сумерках на диван под заклеенные мухами фотографии и грыз ногти, другим чем-нибудь трудно было заняться: Надя очень экономила керосин и просила возможно дольше не зажигать лампы. Курить пришлось бросить по двум причинам: для здоровья (Надя в первый же день сказала, что табак вреден) и за полным отсутствием денег. Дом содержался на скудное Надино жалованье. Она говорила: «Просто в отчаяние можно прийти, если ты, Вася, не начнешь скоро зарабатывать, посылать нам с мамой». Василий Алексеевич никак не мог забыть у Нади гримаски удивления и разочарования при первой встрече.

«Вид у меня паршивый, конечно, больной, зубы не в порядке, раздумывал он в сумерках, – но разве это именно важно?.. Приятнее, если бы этакий молодчина ввалился в крепких сапогах, веселый, полон карман червонцев... Не было бы сразу разочарования... Ах, глупости, мелочи... К маю отъежусь, зубы вылечу – вот вам, Надежда Ивановна, и вид. Зато ваши молодчики из кинематографа городов строить не будут – лобики узки».

Василий Алексеевич несколько раз пытался заговорить с Надей о своих работах, о перестройке Москвы по новому

плану, о величии задач, брошенных в человечество русской революцией. Не было сомнения – Надя поймет, оценит его, и весь житейский вздор, безденежье покажутся ничтожными.

Надя не уклонялась от разговоров, но едва он занесется – у нее личико делается озабоченное: «Ах, прости, Вася, совсем забыла... скоро приду...» И – нет ее, убежала со двора. И Буженинов опять сидит в темноте, старается привести мысли в порядок.

Однажды выручил дождь – хлынул потоком. Надя поахала у окна, вздула лампу, села штопать чулки. Особенно хороши были у нее глаза: голубые, покойные, с мягкими ресницами – темной каймой. Василий Алексеевич глядел в них, покуда не закружилась голова.

– Вот ты архитектор, Вася, скажи, – заговорила Надя, откусывая нитку на чулке, надетом на деревянную ложку, – неужели, правда, за границей в каждом доме ванная? Вчера в кинематографе видела – чудная фильма! Аста Нильсон каждый день берет ванную, моется. Правда ли это? Ведь соскучишься. – Она покачала головой, усмехнулась. – Со мной был один, – ты его не знаешь, бывший военнопленный, – так он рассказывал, будто в частных квартирах за границей все кровати под балдахинами. Вот выстрой такой дом в Москве. Прославишься. Хотя я что-то не верю. Я жизнь знаю по кинематографу. Конечно, артисты в кинематографе стараются показать себя в лучшем свете, а на самом деле все такие же, как у нас.

– Надя, – спросил Буженинов из темноты, с дивана, – скажи мне открыто, – это очень важно... понимаешь... ты любишь кого-нибудь?..

Надя подняла брови. Штопальная игла остановилась. Надя вздохнула, и снова потянулась нитка.

– Вот что я тебе скажу, Вася... Какое там – любовь. Прожить бы!.. Ох-хо-хо!.. Думаешь, выходят замуж оттого, что влюбились? Это только в кинематографе. Какая уж там любовь! Встретишь человека случайно, посмотришь: если чем-нибудь может улучшить твое положение – выбираешь его... Ко мне сватался один из Минска. Так мне захотелось в Минске побывать – все-таки столица. Там, говорят, магазины, трехэтажные дома на главной улице... Едва не согласилась. Ну, а выяснилось, что он просто проходимец, ни из какого не из Минска.

– Нет, Надя, нет, ты – комик, чудачка. Я тебя лучше знаю... Ты не можешь так говорить. У тебя это навеянное... Жизнь на самом деле прекрасна, увлекательна... Нужно строить, бороться, любить...

Буженинов проговорил до позднего часа, покада хватило керосину в лампе. Надя слушала, откусывала нитки, опускала низко голову, улыбаясь. Прелесть молодой девушки, как весенний воздух, пьянила Василия Алексеевича. Заснул он, не раздеваясь, на диване, камнем провалился в сладкую темноту. А наутро выглянул в окно: сидит ворона, нахохлилась. Все тот же забор; серое небо; на дороге ржавое ведро валяет-

ся. Ничего не изменилось за эту ночь. И от вчерашних разговоров остались досада и недоумение.

БЫТ, ПРАВЫ И ПРОЧЕЕ

Мелочи жизни, сами по себе не стоящие внимания, стали принимать болезненные размеры в сознании Василия Алексеевича. Вот почему мы предлагаем пробежать эти строки. Они уясняют многое.

В городе заинтересовались буженинининым сыном. Пошли разные предположения. Конторщик Утевкин, говорят, даже побледнел, узнав о его приезде, и сказал более чем многозначительно:

– Ах, так... Ну, теперь мне многое понятно.

Когда сутулая фигура Василия Алексеевича появлялась в дневные часы на улице Карла Маркса, упирившейся в торговую площадь, прохожие с ужасным любопытством оглядывали «академика». Даже милиционер благосклонно улыбался ему.

Однажды лавочник Пикус снял у дверей лавки защитного цвета картузик, попросил зайти и спросил контрреволюционным шепотом:

– Ну, скажите, что в Москве? Как нэп? Говорят – безнадежно? Ужасное время. Мы катимся в пропасть. Я дошел до такого нервного расстройства, что по ночам кричу благим матом. Ну, очень рад познакомиться. А Надежда Ивановна вас так заждалась.

Пикус намекнул на то, о чем говорили по городу. В про-

винции не любят непонятного, причиняющего беспокойство фантазии. Действительно, за каким дьяволом было Буженинову тащиться в это захолустье? Ясное дело – приехал жениться. Но тут оказывались разные «ямки-канавки»: Буженинов разлетелся не на совсем свободное место, – так по крайней мере посмеивались.

В магазине у Пикуса с ним познакомился Сашок – румяный молодой человек в поддевке и плюшевом картузе, сын хлебного оптовика Жигалева. Стал расспрашивать о столице, о лекциях и кабаре, о женщинах с Кузнецкого и завел Василия Алексеевича в пивную «Ренессанс», во втором этаже, на площади.

Угощая папиросами, Сашок шурил смехом карие глаза, – плотный, смелый, со сросшимися бровями:

– Между прочим, Надежда Ивановна девушка что надо. Заносится только зря. В наше время чересчур о себе много думать не приходится. Так-то, Василий Алексеевич. Новый быт идет, как говорится. Конечно, с ее внешностью – в Москву, на сцену или машинисткой в крупный трест, – карьеру сделать можно. Но здесь...

Шевельнув бровями, Сашок бросил в рот моченую горошину, ухватил ее крепкими зубами, посмеялся.

– Да, здесь интересной девушке делать нечего – гроб... Самое благоприятное – выйдет замуж: у мужа червонцев восемь жалованья, у самой червонца три с половиной... Бесцветно... Или уж тогда, знаете, шла бы в комсомол. Что ж...

Сквозь густые ресницы он хитровато блеснул зрачками на Буженинова.

– ...Это я пойму. А то ни два ни полтора. Я вот в Англию собираюсь, между прочим, по папкиным делам. Предложил в виде шутки Надежде Ивановне попутчицей, вроде секретаря. Робеет: что скажут. Это у нас-то испугаться общественного мнения! Смехотища!

Василий Алексеевич дико глядел на собеседника: что такое он несет? За такие слова в сущности бить сейчас надо. Но Сашок, не задумываясь, перескочил на другую мысль, сыпал витиеватыми фразами:

– Одно скажу, как интеллигентному человеку: остерегайтесь Утевкина. Этот подлец на все способен. После того как Надежда Ивановна сделала ему поворот, он в экономотдел бегал, в ГПУ. Ну что ж, знаете, глупо. Не произвел полового впечатления, и он бежит на девушку с доносом. Хорошо, что там его послали к сучке. Знаете, что он про вас сказал, только что вы приехали? «Буженинова, говорит, к нам выслали в административном порядке, за некрасивые дела; но вопрос – долго ли он будет у нас на шее сидеть паразитом...» Фельетон, а не человек, этот Утевкин... Кроме шуток, без политики, – долго думаете погостить?

– Не знаю. Должен лечиться. Нужен отдых.

– Венерическое заболевание какое-нибудь, конечно?

– Нервное переутомление, – сердито ответил Буженинов и застучал ногтями о жестяной подносик.

– Так вот оно что, хи-хи, – сказал Сашок и бойко пошел в уборную.

Буженинов хотел тоже уйти, но пиво отяжелило его, и он остался сидеть, угрюмо повесив голову. Дверь пивной по-минутно теперь отворялась. День был базарный. Входили крестьяне, перекупщики, лавочники, мещане, заключившие мелкую сделку. За столиками журчали деловые разговоры, негромкие и бедные, как это серенькое небо над площадью, над рогожными палатками, над выпряженными возами, над грачиными гнездами на липах. Дым крепкой махорки колебался слоями по длинному помещению «Ренессанса». На дощатый пол натащили сапогами навозу с площади. Василию Алексеевичу представилось, что сидит он на дне глубочайшего колодца, и только пестрые плакаты Добролета, Доброхима, красный силуэт рабочего между красных труб на штукатуренной стене над головами чаепийц и курителей махорки напоминают о далекой-далекой Москве, где гремит жизнь.

Вернулся Сашок из уборной и сказал, кивнув на стойку:

– Из-за этой вон дамочки тоже у нас ноги кое-кому перешибли, дел двадцать в народном суде из-за нее разбиралось. Знаменитость.

Действительно, за стойкой лениво стояла полногрудая «дамочка» в ситцевом полосатом платье, широколицая, напудренная, с маленьким носиком, с гребенками в туго завитых волосах.

С ней разговаривал, наваясь локтем на стойку, низкорослый человек в черных брюках и в штатском френче. Длинный нос его только что заехал в блюдо с жареной печенкой, нюхал из горшка с селедками.

– Пожалуй, съем, – сказал этот человек и поволоко поглядел на дамочку за стойкой. – Положите мне печеночки и положите мне половину селедочки. Какую половину? А какую сами захотите – хоть с хвоста, хоть с головы.

Он сел за столик, положил ногу на ногу, закусил зубом папироску, прищурил глаз от дыма.

Дамочка небрежно поставила перед ним тарелки с печенкой и селедкой, отвернулась равнодушно. Но он пригласил:

– Садитесь, Раиса Павловна, за стол. Вы мне не мешаете, а даже наоборот.

Вместо ответа она выпятила нижнюю губу, стала поправлять гребенки.

– А я вчера в кинематографе три сеанса высидел на «Молчи, грусть, молчи», – вы не изволили явиться; вопрос – почему?

Роковая дамочка дернула плечиком, ушла за стойку. Он оборотил к ней длинный свой волнистый нос и, вытаскивая из зубов селедочную косточку, сказал насмешливо:

– Ну-ка, сознайтесь, а ведь я вас вчера таки смутил немножко.

– Чем это вы меня смутили? Оставьте ваши подходы.

– Своими песнями, гражданочка. – И, очень довольный,

он изо всей силы принялся резать печенку.

Сашок сказал Буженинову:

– Это Утевкин. Ухажер, первый фокстротист. У него расчет, что вы сестре про его фигли-мигли расскажете. А Надежда Ивановна с этой Раисой лютейшие враги: одного летчика в прошлом году не поделили.

К Сашке подошли двое неизвестных в романовских полубухбах, забрызганных дорожной грязью, и они втроем отсели за соседний столик, совещаясь по хлебному делу. Буженинов вышел из пивной.

Ветер на площади покачивал баранки и связки вяленой рыбы в рогожных палатках, задирает ухо собачонке, сидевшей на возу с сеном. Визжал поросенок, которого мужик тащил за ногу из мешка. Крепко пахло соленым салом, дегтем, навозом. На сухом тротуаре, около кучи банных веников сидела здоровенная баба в ватной юбке и, повернувшись к площади голой спиной, искала вшей в рубашке. Седой человек в старом офицерском пальто с костяными пуговицами остановился, посмотрел бабе на спину и спросил уныло:

– Почему веники?

– Два миллиарда, – сердито ответила баба.

Вот старый еврей, трясая головой, молча тащил за шею гусенка из-под мышки у худого страшноглазого мужика. Гусенок был жалкий, со сломанным носом. Еврей скорбно осматривал лапки и крылья, дул ему в нос, давал цену. Мужик запрашивал:

– Это – гусь, его раскорми – кругом сало.

И тащил гусенка за шею к себе.

– Он и кушать не может, у него нос отломан. Зачем мне больной гусь? – говорил еврей и опять тащил гусенка.

– У тебя нос сломан! – кричал мужик нутряным голосом. – Ты гляди, как он жрет. – И он совал корку, и гусенок жадно давился хлебом.

У телеги с глиняными горшками закричали две бабы, поспорясь. Милиционер с каменным лицом шел к ним не спеша, и бабы замолчали, уставились на красноголового, как крысы.

– В чем дело, гражданки? Пожалуйте в отделение.

Вот почтенный старичок в очках, продавец львов из бумажного теста с зелеными рылами и расписных свистулек, не обращая внимания на суету и шум, читал книжицу. Перед ним стоял пьяный человек, перекинувший через плечо грязные валенки, видимо принесенные на продажу, и повторял зловеще:

– Предметы роскоши – не дозволяется. Это мы сообщим кому следует.

Василий Алексеевич обогнул по тротуару базарную площадь, миновал сад, где от рассвета до ночи неутомонно кричали грачи над гнездами да на зазеленевшем лугу играла в мяч стайка мальчиков, и вышел на обрыв к реке.

Здесь он сел на скамейку и глядел на разлив, на полоски лесов вдаль. Оттуда в вечеряющем небе летели птицы. Мгла

поднималась на широкой равнине над озерами, над полуза-топленными деревнями.

Засунув руки между колен, сжав рот, Василий Алексеевич думал:

«Вековая тоска, бедность, житье-бытье... Пивная с дамочкой, Утевкин, Сашка... Дрянные разговоры... Пристроились, приспособились... Утевкин фокстрот пляшет... Живут, живут... Зачем?.. Здесь, что ли, вырастет великое, прекрасное, новое племя...»

В это время какой-то человек сел рядом с Василием Алексеевичем. Снял очки, протер их, высморкался.

– А мы с вами были знакомы, товарищ Буженинов, – сказал он дружески.

ПОКАЗАНИЯ ТОВАРИЩА ХОТЯИНЦЕВА

Во время производства следствия товарищ Хотяинцев рассказал о своей встрече с Бужениновым в сумерках на обрыве. (Хотяинцев находился в городе проездом по служебному делу.)

Показания его были таковы:

С л е д о в а т е л ь. Когда вы знали Буженинова?

Х о т я и н ц е в. В двадцать первом году. Я был политруком в дивизии.

С л е д о в а т е л ь. Вы замечали за ним какие-нибудь странности, вспышки гнева – словом, что-либо выходящее из нормы?

Х о т я и н ц е в. Нет. Он был на хорошем счету. Одно время работал в клубе в полку. О нем тепло отзывались товарищи.

С л е д о в а т е л ь. Тогда, при встрече на обрыве, вы также не заметили ничего особенного?

Х о т я и н ц е в. Мне показалось, что он был мрачен и возбужден. Мы поспорили.

С л е д о в а т е л ь. Его настроение носило личный характер или причина его возбуждения была более общая – например, социальная неудовлетворенность?

Хотяинцев. Я думаю – и то и другое. Он был удручен своим нездоровьем, невозможностью в ближайшее время продолжать ученье, работу. Кроме того, причины общего характера. Я был изумлен, когда услышал от него резкое и непримиримое отношение к той обстановке, куда он попал. Он начал разговор так приблизительно:

«Помните, товарищ Хотяинцев, работу в клубе, доклады, спектакли, концерты? Какие были ребята! Как все горели! Незабываемое, счастливое время».

Мы стали вспоминать товарищей, походную жизнь. Горячо вспоминали. Он отвернулся и, как мне показалось, вытер глаза рукавом. «Упал я с коня в грязь, в колею, полк ушел, а я сижу в грязище – вот мне так представляется, – сказал он с большой горечью. – За один день сегодня такой гадости нахлебался – жить неохота. Мещанство. Житьишко. Семечки грызут за воротами. Да, да, товарищ Хотяинцев, отстучали копыта наших коней. Улетели великие годы. Счастливы те, кто в земле догнивает...»

Я, помню, посмеялся тогда над ним. «Вы, говорю, товарищ Буженинов, стихи, что ли, пишете? Уж очень у вас жалобно выходит». Он мне тогда с еще большим напором: «Взрыв нужен сокрушающий... Огненной метлой весь мусор вымести. Тогда было против капиталистов да помещиков, а теперь против Утевкина... Я, говорит, вам расскажу, как Утевкин сегодня печенку ел». И стал в лицах представлять какого-то своего знакомого.

Я вижу – действительно у него пошло на серьез. «Ваши, говорю ему, настроения, товарищ Буженинов, у нас под категорию подведены, это не ново, так рассуждать не годится. Пока вы в седле, в руках винтовка, за холмом зарево пылает, – этот час революции весь на нервах, на эмоциях, на восторге. Скачи, руби, кричи, во весь голос – романтика! Взвился рыжий конь и понес. А вот впряги коня, скакуна, в плуг – трудно: полета нет будни, труд, пот. А между тем это и есть плоть революции, ее тело. А взрыв – только голова. Революция – это целое бытие. От взятия Зимнего дворца до тридцати двух копеечек за аршин ситца. Вы представляете, какой это чудовищный размах, какой пафос должен быть, чтобы заставить боевого товарища с четырьмя орденами Красного Знамени торговать баранками на базаре, где ваш Утевкин печенку ел? Больше мужества нужно в конце концов эти баранки продавать, чем с клинком наголо пролететь в атаку. Мещанство метлой не выметешь – ни железной, ни огненной. Оно въедчивое. Его ситцем, и книгой, и клубом, и театром, и трактором нужно обрабатывать. Перевоспитать поколения. И пройдут мучительные года, покуда у вашего Утевкина в голове не просветлеет. Для вас, поэтов, – если хотите, соглашусь, – наше время трагическое...»

Я старался говорить с ним на его же языке. Он молчал, вздыхал, и мне показалось, что я убедил его. Во всяком случае, прощаясь, он сказал: «Спасибо. Если у меня хватит здоровья, мужества, силы – постараюсь повоевать на мирном

фронте. Вы правы, это – трагедия: войти в будни, раствориться в них не могу, и быть личностью, торчать одиноко тоже не могу».

ЗА РЕКОЙ

Слякоть кончилась. Настали майские лучезарные дни; по влажно-синему небу поплыли снежные горы с синеватыми днищами. В городе уже пылило из переулков, от заборов пованивало. Зато за рекой стало очень хорошо зелено.

Василий Алексеевич за эти недели отъелся, окреп, не сутулился больше. Чувствовал себя много спокойнее, не то что раньше, когда кончики нервов раскалялись и трепетали при малейшем пустяке. Казалось, еще немного – и прежнее здоровье вернется.

Тяжело было только безденежье. Хотя Надя и не намекала даже, но чувствовалось, что в доме сидит дармоед. Подавай ему и щи каждый день, и хлеб, и молоко, и сахар. Про дармоеда кричала однажды Матрена соседской стряпухе через забор.

Надя могла бы купить себе ситчику к весне на кофточку, а вот – не купила. Кофту съел Василий Алексеевич. Работы в городе достать было нельзя – все учреждения набиты, все говорили о сокращениях. Единственное разумное оказывалось не терять времени и готовить к осени зачеты. Василий Алексеевич с некоторым страхом начал работать. Надя похвалила:

– Я уже сказала на службе, что ты начал чертить, а то все смеются.

Поднимался Василий Алексеевич теперь на заре. Матрена во дворе давала ему умыться из ковшика: «Ты уж молочка-то выпей парного, я не скажу». Он садился за стол – за чертежи, почесывая босой ногой ногу, которую щекотали мухи. Он весь вдруг настораживался, когда за стеной просыпалась Надя. Обернув голову, раскрыв рот, стиснув карандаш, глядел на стену. И ловил себя на этом: «Фу, как глупо, неуместно». Когда в столовую входила Надя, умытая, свежая, с локончиками, – кровь у него начинала биться и прыгать, как розовая жидкость в стеклянной трубочке с шариком, что продают на вербах.

Он показывал ей проект вокзала, Надя кивала головой:

– Хорошо, мне нравится, Вася. Но уж очень как-то малопрактично. Я люблю маленькие домики, с палисадником. Качели, на лужке – шар. Резеда, душистый горошек... Вот моя мечта...

Василий Алексеевич не спорил, – улыбался. Он решил «открыть, наконец, ей глаза». Она должна увидеть голубой город. Глупо было о нем рассказывать. Нужно показать. Она поймет. Дармоеда не зря кормили четыре недели.

Василий Алексеевич достал у матери из сундука холст, загрунтовал его и осторожно, не спеша, начал работать в часы, когда Надя на службе. Он закрывал глаза, и в воображении разворачивалась перспектива уступчатых домов, цветочные ковры улиц, стеклянные купола, мосты – точно радуги над городом счастливого человечества.

Когда слишком уже горела голова от работы и дрожали руки, он прятал холст под диван, брал картуз и шел за реку, не замечая ни пыли, ни гнилых заборов, ни приветливо кланяющегося Пикуса в дверях лавки. На той стороне реки шагал некоторое время по низине в мокрой траве и ложился на зеленый пригорок – на спину, скрещенные руки под голову.

Голубой свет неба лился в глаза, солнцем припекало щеку, на медовой метелке возилась пчела. Налетал ветер, шумя осинами, собирая с земли островатый запах трав, меда, влаги. Все это было очень хорошо. Глаза слипались, мягкий толчок блаженно потрясал тело – и вот он спал...

.....

...Сверху вниз, как ночная птица, скользнул аэроплан, и женский голос оттуда крикнул: «Жду, приходи...» Прозвонел: «Жду!..» Наконец-то... И он идет по широким блестящим лестницам уступчатого дома – вверх, вниз, мимо зеркальных окон. За ними – ночь, прорезанная синеватыми мечами прожекторов. Мерцают светом изнутри круглые крыши... Огни, огни... Снова лестница вниз. Он бежит – захватывает дыхание. И вот необъятная зала, посреди – бассейн. Тысячи юношей и девушек плавают, ныряют... Сверкают зубы, глаза, розовые плечи... Он скользит по мраморному краю, ищет, всматривается: где она, та, кто позвала?.. Милое, милое лицо... И он чувствует – синие глаза вот, где-то сзади, где-то сбоку...

Василий Алексеевич приподнимался, садился на пригор-

ке, дико оглядывая луга, разлив, осины, играющие с ветром, серенький городок за рекой. И лицо его, должно быть, в эти минуты пробуждения овеяно было светом фантастических огней.

МЕЛКИЕ СОБЫТИЯ

В сумерки Василий Алексеевич проходил по переулку имени Марата. Через забор в щель кто-то крикнул ему страшным голосом:

– Мы тебя разнавозим!

И затопали ноги, убегая по пустырю.

Когда он пришел домой, Надя сидела у стола и сморкалась в свернутый шариком платочек, вытирала глаза. Она сердито отвернулась от Василия Алексеевича. Он пришипился на диване. Она заговорила:

– Как не понять, что ты меня компрометируешь... Бог знает что говорят по городу. Сегодня утром эта дрянь Раиса заявляет, – нагло глядит на меня: «Вы, душечка, пополнели». Утевкин – тот просто хамски стал держаться, едва здороваётся. Хоть не живи... Очень тебе благодарна...

У нее припухли губы, висели волосы перед глазами. Василий Алексеевич, потрясенный, сказал тихо:

– Надя, я не понимаю.

Она обернулась и так поглядела покрасневшими глазами, что он сейчас же опустил голову.

– Я заранее знала, что ты так ответишь: «Не понимаю...» А чего ты понимаешь? Ходишь по городу, как лунатик... На базаре уж все знают: «Вон жених пошел...» Со смеху прямо катаются... Жених!

– Надя, мне казалось, что это само собой должно выйти...

– Что?.. Замуж, за тебя?.. В самом деле не мешало бы тебе серьезно полечиться...

Надя оттолкнула тарелку с недоеденным, ушла к себе, легла. У Василия Алексеевича в голове началась такая толкучка, что пришлось посидеть на крыльце. Голову стискивало свинцовым обручем, он прирастал к ступенькам, не решаясь кинуться к Наде, разбудить и сонной сказать: «Надя, люблю, Надя, страдаю, Надя, сжался, хочу тебя... Гибну...» В темноте подходила собака Шарик, нюхала Василию Алексеевичу коленку и вдруг, царапая по земле лапами, завивалась и шелкала старыми зубами блох в задней ляжке. За низенькими крышами, за скворечнями разливался еще мертвенный оранжевый свет зари. Небо было непроглядное. В холодке за плетнем у соседа шелестели листья. Разумеется, Василий Алексеевич ничего не решил и не понял в эту ночь.

Назавтра он ждал продолжения разговора. Но день прошел обычно жаркий, с мухами. Ветер гнал пыль по переулку. Надя появилась к обеду мимолетом; что-то укусила, в глаза не взглянула ни разу, убежала.

Томиться, ждать ее было невыносимо. И в первый раз Василия Алексеевича укололо сомнение – здорово, как иголкой, запустило под мозговые извилины: а куда, собственно говоря, Надя уходит каждый вечер?

Он выскочил на двор, нагнув лоб, пошел на Матрену она колола лучинки.

– Куда Надя ушла?

– Милый, не знаю. Чай, к Масловым, все к ним.

– Кто такие?

– Масловы-то? Лавошники. Раньше богатеи были и теперь, слава богу, с достатком. Слетай, они недалеко.

Прежние сады Масловых тянулись версты на три вдоль реки. Теперь остался трудовой участок, огороженный новым забором, а где – колючей проволокой, запутанной по зарослям акации. Около этих акаций Василий Алексеевич и остановился. Взялся руками за пояс, глядел в пыль.

...Он очутился здесь, как во сне: после слов Матрены уже стоял около этих акаций. Промежуточного ничего не было. «Войду и, если она там, скажу, что...» В это время за акациями засмеялись. Он нагнулся и между стволами увидел Надю и какую-то полную краснощекую девушку. Они лежали на лужку, на одеяле, на ситцевых подушках. Перед ними стояла пожилая, на низком ходу женщина, на руке держала платье, – видимо, портниха. Большие губы ее вытянулись, улыбались добродушно, глуповато. Краснощекая девушка проговорила, мотаясь по подушке:

– Ох, умереть! Так отчего же вы, Евдокия Ивановна, замуж не вышли?

– Порфирий Семеныч ужасно сколько раз умолял, плакался: «Евдокия Ивановна, измените ваше решение». Но я: «Порфирий Семеныч, как я пойду замуж, когда я щекотки боюсь, не переносу».

– Ох, не могу... Ну, а он что же?

– Да что ж тут поделаешь, я – непреклонно. Ну, он с горя и присватался к Чуркиной, Настасье. Настасья – рада-радешенька, – приданое справила, подвенечное платье сшила. Вот – свадьба, а вечером Порфирий Семеныч является к невесте пьяный, конечно, и все платье ей облювал подвенечное. «Я, говорит, первую любовь не могу забыть...»

Портниха насмешила и ушла. Девушки кисли от смеха и жары на подушках. Порыв предвечернего горячего ветра пронес над садом облако пыли. Краснощекая Зоя Маслова приподнялась и, оправляя голыми до плеч руками рассыпавшиеся волосы, сказала:

– Что же он не идет в самом деле, дурак несчастный. – И опять легла, обняла Надю за талию. – Цыпочка моя, котинька, не обращай внимания, наплюй – пусть языки чешут, кому не лень. Живи, зайнька, как тебе подсказывает молодое сердце. Валяй вовсю, куда валяется. – Она засмеялась и куснула Надю за шею. – Старая будешь – так не завалывается, кукушечка.

Помолчав, повертев травинку, Надя ответила:

– Тебе хорошо, с деньгами. А мне своим горбом старуху корми да этого блаженного. Надеялась, выписала – поможет, облегчит... Ужасное разочарование, Зочка. И при этом влюбился в меня, можешь себе представить.

Зоя всплеснула руками. Надя продолжала сдержанно:

– Я решила: если отдамся человеку, то по законному бра-

ку, пусть обеспечит мне материальное существование. Тогда, может быть, в Москву поеду, в театральную школу.

– Вот и верно говорят, – с горячностью крикнула Зоя, – у тебя в голове зонтиком помешали. Найди сейчас богатого дурака – законным браком... Сто раз тебе повторяла: Санька не может жениться, ему отец не велит, нельзя. Так ты весь век и просидишь вороной в переулке...

Зоя вдруг обернулась и толкнула Надю. К ним подошел Сашок в палевой вышитой рубашке, в полосатых брюках, в желтых полуботинках. Под мышкой он держал гитару. Снял клетчатую кепку – московской моды «комсомолка», опустился перед девушками и поздоровался за руку:

– Томитесь, гражданочки?

– Во всяком случае, по вас меньше всего томимся, – бойко ответила Зоя, смехом прищурила глаза.

Надя оправила юбку на ногах, слегка выпятила нижние зубки. Сашок поглядел на небо, где снова пронеслось пыльное горячее облако.

– Жарковато, гражданочки. И до чего эта температура может довести молодого мальчишку – с ума сойти...

– А до чего довести, примерно? – спросила Зоя.

Сашок кивнул на Надю, мигнул, тронул струны гитары и запел вполголоса, хриповато:

Люблю измятого батиста
С ума сводящий аромат...

Между куплетами на мотив «Алла верды» Сашок острил, говорил приговорочки, остро поглядывал на Надю. Когда музыка прискучила, все трое захватили одеяло и подушки и пошли пить чай.

Василий Алексеевич как присел тогда у акации, так одним глотком и проглотил эти ядовитые разговоры. Внутри у него все дрожало; он побрел к реке и там сел на глинистом обрыве.

Что случилось? Ничего не случилось. Как и в первые дни приезда, с ужасной остротой увидел, услышал мелочи жизни. Сегодня – ничего нового. Хотя нет: эти выпяченные зубки, головка набок, голое плечико, будто нечаянно вылезавшее из ситчика... Это – новое... И про «блаженного» новое... Хотяинцев говорил: «Больше мужества баранки продавать, чем с клинком наголо пролететь в атаку...» Мужество нужно, спокойствие, воля. А впечатлительным – смерть. Вздор, две девчонки и балбес с гитарой наплели вздору с три короба, так уж и мрак опустился на душу и свинцовый обруч на голове... Хорош строитель. Вздор, вздор! С завтрашнего дня по двадцати часов работать, через две недели – в Москву...

Все ж, если бы случайный прохожий со стороны посмотрел на Василия Алексеевича, ему бы представился сутулый, в выцветшей рубашке, с нечесаными отросшими волосами несчастный человек... Впавшие щеки, заострившийся длин-

ный нос, лицо такое отчаянное, что вот еще одно какое-то умозаключение сделает этот молодой человек – и, полон противоречий, махнет с обрыва в речку...

Но этого не случилось. Когда за потускневшими лугами погасла заря и зажглись кое-где костры на покосе, Василий Алексеевич пошел домой. В переулке имени Марата со свистом мимо его носа пролетел камень, и опять чьи-то шаги, убегая, воровски затопали по пустырю.

ЖАРКИЕ ДНИ

«Всего хотеть – хотелок не хватит», – говорила Надя. Она была очень благоразумна. Но дни становились все жарче, по ночам жгла даже простыня. И поневоле каждый день Надя попадала в сад к Масловым, на подушки под яблоню. Благоразумие было само по себе, а жаркий вечер, сухие пилочки кузнечиков в скошенной траве, зацветшие липы да пчелы, истома под батистовым капотом (подарок Зои) и нахальный Сашка – все это было само по себе.

Лукаво шептала Зоя про свою «даже неестественно страстную любовь с молодым женатым доктором». Надя крепилась, хотя подумает: «А ведь засасывает меня омут, июньские дни», – и отчего-то – не страшно.

Давно не помнили горожане такого пекла в конце июня. Деревья начали вянуть. На лугах за рекой стояла мгла. Говорят – горел хлеб. От сухости по ночам трещали стены. В учреждениях служащие пили воду, вялые, как вываренное мясо.

Буженинов заканчивал зачетные работы. От зари до сумерек в раскаленной комнате под жужжание мух он мерил, чертил, рисовал, красил. Поддерживало его невероятное напряжение. Полотно с планом голубого города он приколотил на стену и работал над ним в минуты отдыха. С каждым днем город казался ему совершеннее и прекраснее.

На будущей неделе он решил ехать в Москву. У матери оказались припрятанными три золотых десятирублевика ему на дорогу. («Возьми, Вася; берегла себе на похороны, да уж люди как-нибудь похоронят... Не говори Надьке-то».) И он действительно уехал бы, исхудавший, восторженный, в лихорадке фантазии и работы, если бы не толчок со стороны. Напряжение его неожиданно вырвалось по другому направлению.

Жизнь, по всей вероятности, не прощает уходящих от нее фантастов, мечтателей, восторженных. И цепляется за них и грубо толкает под бока: «Будя дремать, продери глаза, высоко занесся...»

Назвать это мудростью жизни – страшно. Законом – скорее. Физиологией. Жизнь, как злая, сырая баба, не любит верхоглядства. Мудрость в том, чтобы овладеть ею, посадить бабу в красный угол в порядке, в законе, – так по крайней мере объяснял в сумерки на обрыве товарищ Хотяинцев.

Случилось вот что. Надя, как всегда, в половине девятого, с портфелем, в белом платочке, заглянула перед службой в столовую, где лежал животом на столе Буженинов, равнодушно скользнула глазами по голубому городу, занимавшему половину стены, и молча вышла. Скрипнула калитка, и сейчас же послышался болезненный негромкий крик Нади. Она побежала по сеням, рванула дверь и упала среди книг на диванчик, схватившись за голову.

– Негодяй, негодяй! – закричала она, топая ногами, и за-

плакала на голос.

На дворе шумела Матрена, ругалась:

– Ах, паршивцы, ах, разбойники!

– Уезжай, слышишь – уезжай сию минуту от нас! – повторяла Надя сквозь брызгающие слезы.

Оказалось, ворота в трех местах были измазаны дегтем, и написано дегтем же, аршинными буквами, матерное слово. Матрена уже отвела во двор обе половинки ворот и смывала деготь щелоком. Надя на службу не пошла, заперлась у себя. У Василия Алексеевича так тряслись руки, что он швырнул карандаш и попытался постучаться к Наде.

– Убирайся, ты один виноват в моем позоре! – еще злее крикнула Надя. – Уезжай в Москву, дармоед блаженный!..

Руки дрожали все сильнее. Дрожало, било тревожным пульсом в середине груди. Василий Алексеевич некоторое время стоял в комнате, мухи ползали по его лицу. Затем – как-то так вышло – он очутился на площади. (Опять из сознания выпал кусок.) Над ним в горячей мгле жгло белое солнце. На площади завился пыльный столб и шел кругом по сухому навозу. Василий Алексеевич глядел на окна «Ренессанса». Кое-какие посетители уже пили пиво. И вот в окне из-за стены выдвинулся длинный волнистый нос. За Бужениновым наблюдали.

Он стиснул зубы и взбежал по лестнице в трактир. Но волнистый нос исчез. Из-за стойки с ужасным любопытством глядела пышная, напудренная Раиса, и ротик ее, как ниточ-

ка, усмехался многозначительно. Буженинов схватился за стойку и спросил (на следствии Раиса показывала: «Заревел на меня, вращая глазами»):

– Был здесь Утевкин?

Раиса ответила, что «почем она знает, посетителей много».

– Врете! Это он, я знаю...

– Вы, гражданин, полегче кричите.

Но Буженинов уже опять стоял на площади под мглистым раскаленным солнцем. Оглядывался. По горячей пыли бродили только сонные куры. Раиса видела, как он поднял кулаки к вискам и так, сжимая голову, зашагал к речке.

К вечеру его видели в лугах, сидящим на кургане. Там он и остался на ночь.

ИЗ ОПРОСА НАДЕЖДЫ ИВАНОВНЫ

С л е д о в а т е л ь. Почему Буженинов был убежден, что ворота вымазал Утевкин и что им же брошен камень в переулке Марата?

Н а д я. Не знаю.

С л е д о в а т е л ь. А вы уверены, что это сделал Утевкин?

Н а д я. Кому же еще? Конечно он.

С л е д о в а т е л ь. Какая была цель? Утевкин ревновал вас, что ли?

Н а д я. И это отчасти. Да ревновал.

С л е д о в а т е л ь. Какие же у него были основания ревновать вас именно к Буженинову?

Н а д я. Над ним шутили... Александр Иванович (Жигалев) говорил мне как-то, что встретил Утевкина и смеялся над ним, будто Утевкин остался с носом... Я тогда рассердилась, но Жигалев успокоил, что всё это только шуточки...

С л е д о в а т е л ь. Жигалев, говоря Утевкину «с носом», имел в виду Буженинова, не себя, конечно?

Н а д я. Да.

С л е д о в а т е л ь. Стало быть, Утевкин был убежден, что вы живете с Бужениновым?

Н а д я. Я ни с кем не жила.

.....

С л е д о в а т е л ь. Прошлое ваше показание было несколько иное.

Н а д я. Я ничего не знаю... Не помню... У меня все смешалось...

С л е д о в а т е л ь. Буженинов имел обыкновение носить при себе спички?

Н а д я. Нет, он не курил.

С л е д о в а т е л ь. Вы можете указать, каким образом у Буженинова третьего июля оказались спички?

Н а д я. Когда он побежал – он схватил их с буфета.

С л е д о в а т е л ь. Вы это видели и помните, как он схватил спички? Это очень важный пункт в показаниях.

Н а д я. Да, да вспоминаю... Дело в том, что, когда у нас испачкали ворота, на другой день, – мне было очень тяжело, – я пошла к Масловым. По дороге встречаю его... Глаза белые, ну весь – ужасный. Подошел ко мне: «Ты куда?» – «Тебе какое дело, иду к подруге». Он: «Я им отомщу, я этот городишко сожгу...» И кулаком погрозил. Так что, когда он схватил спички, я вспомнила угрозу...

С л е д о в а т е л ь. Куда он пошел после этого?

Н а д я. Домой, Матрена подала ему щей. Рассказывала: он съел две ложки и не то задумался, не то заснул у стола. Потом пошел ко мне в комнату и рассматривал мою фотографию, лег даже на постель, но сейчас же вскочил и ушел.

С л е д о в а т е л ь. Это было в вечер убийства?

Надя. Да.

Следователь. Затем вы его видели, когда он вбежал, показывая окровавленные руки, и тогда же схватил спички?

Надя. Нет, не сейчас же... Я забыла...

УБИЙСТВО УТЕВКИНА

Повышенное настроение, напряженная работа, сборы в Москву – оказались чистым обманом.

Все его тощее тело, все помыслы жаждали Надю. Буженинов просыпался на заре с оглушающей затаенной радостью. Весь день за работой радость пенилась в нем и была так велика, так опьяняюща, что даже разговор, подслушанный в саду у Масловых, утонул в ней пылинкой. Какие мелочи! Ну не любит – полюбит... Надя – еще не жившая, не раскрытая, ей еще не время.

По всей этой фантастике мазнули дегтем матерное слово. Он не сразу понял весь чудовищный смысл дегтя на воротах. Ночью в лугах, на скошенном кургане, охватив голову, опущенную в колени, он глядел закрытыми глазами на вереницы дней своей жизни. В нем поднималась обида, злая горечь, мщение.

Утром, возвращаясь из лугов, он увидел Надю у сада Масловых. Она показалась ему маленькой, пронзительно жалкой, – припухшие синие глазки! Он сильно взял ее за руку и зарычал, что отомстит. Она не поняла, испугалась.

Дома, перед тарелкой со щами, он думал о мщении. Мысли обрывались было слишком много передумано за ночь. Он пошел к матери, но она скучно похрапывала в духоте с занавешенным окошком. Тогда, как вор, он прокрался в Надину

комнату, схватил ее фотографию с комода, и в нем все содрогнулось. Он даже прилег на минуту, но сейчас же вскочил и вышел из дома. Военным движением подтянул пояс. Теперь он был спокоен. Оперативное задание дано, мысли работали по рельсам: точно, ясно.

В переулке Марата он перелез через забор и пошел по пустырю, заросшему между ямами и кучами щебня высокой лебедой. Он пересек едва заметную в бурьяне тропинку, сказал: «Ага», – и свернул по ней к развалинам кирпичного сарая.

Было уже темно. Лунная ночь еще не начиналась. Буженинов обогнул развалины и шагах в пятидесяти увидел два освещенных окошка деревянного домика, выходящего задом на пустырь. Свет падал на кучу щебня, ржавого мусора, битой посуды. Буженинов обогнул ее и в окне увидел Утевкина, набивавшего папиросы, – видимо, он куда-то спешил. Он был в фуражке с чиновничьим околышем, без кокарды и с парусиновым верхом. Губы его, помогавшие набиванию папирос, улыбались под волнистым большим носом, с угла на угол ходила самодовольная усмешка.

Утевкин ловко заворачивал кончики набитых папирос, укладывая их в портсигар, последнюю закурил от лампы, поправил фуражку, взял тросточку со стола, взмахнул ею и дунул в пузырь лампы.

Буженинов отскочил от погасших окон, кинулся за угол дома – забор был выше роста... Кинулся направо – забор...

За ним бойко простучали шаги Утевкина.

Впоследствии, на допросе, Буженинов с чрезвычайным старанием припоминал все подробности этой ночи. Он оборвал показания, изумился, пришел в крайнее волнение от простого вопроса следователя: какие реальные данные были у него, Буженинова, чтобы предполагать, что именно Утевкин вымазал ворота? Уверенность – только.

– Если бы вы сами видели, как он набивал папиросы, усмеялся... Ну конечно, он... Нет, вы меня не собьете, товарищ следователь... Три года воевать, чтобы увидеть, как Утевкин в фуражечке стоит... Нет, нет... Какие там реальные данные... Он во все время гражданской войны у себя на пустыре отсиживался и теперь мажет ворота, папиросы набивает... Не только я уверился, что это он, но просто увидел, как он тогда подхихикивал, когда мазал... Я побежал вдоль забора, перелез на ту сторону улицы. Утевкина не видно. Я был в «Ренессансе», на бульваре, в городском саду – нигде его нет... Товарищ следователь, преступление мое заранее обдуманно... Там, где начали мостить площадь, я выбрал из кучи булыжник и с этим оружием искал Утевкина...

.....

Буженинов появлялся в разных частях города. К некоторым обывателям, носившим белые фуражки, он подходил с таким странным видом, что они в ужасе отшатывались и долго ворчали, глядя на сутулую, с прилипавшей рубашкой спину убежавшего «академика».

Ночь посветлела: за дугами из июльской мглы взошла половинка луны, в городе легли невеселые тени от крыш. Наконец Буженинов нашел Утевкина. Тот стоял у сада Масловых – фуражка на затылке, задом упирался на трость... Рот у него был раскрыт, будто он подавился...

– Ну и чепуха, – в величайшем удивлении проговорил Утевкин не то самому себе, не то Буженинову, подхлотившему (в лунной тени от акаций) со стиснутыми зубами, с отведенной за спину рукой, – ну и стерва эта Надька... А я-то дурак, ах, трах-тарарах... А с ней Сашка, оказывается, очень просто голяшки заворачивает...

Буженинов резко кинулся вперед и со всей силой ударил Утевкина камнем в висок...

КОРОБКА СПИЧЕК

В этот день Сашок ездил по отцовским делам в уезд и появился в саду у Масловых поздно. Весь он был еще горячий от полевого солнца, обгоревший и веселый. Карманы у него были набиты стручками, горохом, уворованным по дороге.

В саду под яблоней на подушках лежала одна Надя. От огорчений этого дня, истомленная духотой, вся влажная, растревоженная, она заснула, подсунув ладонь под щеку. Такою ее нашел Сашок, – очень мила, конфеточка... Он подкрался, отвел у Нади локон от лица и поцеловал ее в губы.

Надя ничего сначала не разобрала, раскрыла глаза и ахнула. Но куда уж там благоразумие. Руки не согнуть – такая истома. От Сашки пахло дорожной полынью, колосьями, свежим горохом. Он прилег рядом и зашептал в ухо про сладкие вещи.

Надя покачивала головой – только и было ее сопротивления. Да и к чему – все равно уж опозорена на весь город... А Сашка шептал что-то насчет Гамбурга, модных платьев... Про шелковые чулки бормотал в ухо, проклятый. Он уж и руку положил Наде на бочок.

В это как раз время голос Утевкина из-под акаций проговорил:

– Ах, трах-тарарах!

Надя взвизгнула, побежала. Сашок догнал ее, стал бо-

житься, что женится. Она дрожала как мышь. И они не слышали ни короткого разговора Утевкина с Бужениновым, ни удара, ни вскрика, ни возни.

Надя повторяла:

– Пустите, да пустите же, мне нужно домой.

Сашок сказал многозначительно:

– Домой? Ну хорошо, – и отпустил ее вспотевшие руки.

Надя ушла, но не переулками, как обычно, а обходом через выгон, где под луной чернели тени холмиков давно заброшенного кладбища. Сашок следовал за ней издали.

Дома Василия Алексеевича не было. Матрена спала на погребнице. Надя заперлась у себя на крючок, разделась и сидела на кровати, кулачками подперев подбородок. Станный свет от половинки луны падал через окно. Надя смотрела на крючок, и легкая дрожь не переставая пробегала по спине. Не напрасно смеялись по городу, что у нее «в голове помешали зонтиком».

Через небольшое время скрипнула калитка. Потрогали дверь в сенях, вошли. Надя проворчала:

– Не пущу.

В ее дверь поскребли ногтем.

– Нельзя же, – прошептала Надя.

Сашкин палец просунулся в щель, нащупал крючок и поднял его. Надя только пошевелила губами. Вошел Сашок; лунный свет упал ему на белые большие зубы. Он молча живо присел рядом на кровать, и Надя ртом почувствовала ко-

стяной холодок этих зубов.

Сашок был ловок обращаться с девушками. Вдруг руки его быстро разжались, он откачнулся в сторону; Надя раскрыла глаза и задохнулась от испуга: в дверях стоял Буженинов... глаза без зрачков, руками схватился за косяки, руки – в темных пятнах, в пятнах рубаха. Сашок, головой вперед, молча кинулся на Буженинова, сбил его с ног и выскокчил на двор – бухнул калиткой. Все это в несколько секунд. Надя нырнула под одеяло, сжалась в комочек. Что-то кричали, топали, – она под одеялом, под подушкой зажмурилась, заткнула уши.

.....

Вопрос, которому следователь придавал важное значение: когда и при каких обстоятельствах у некурившего Буженинова появилась в кармане коробка спичек, – оставался темным. Сам Буженинов отвечал и так и этак, – из памяти выпала мелочь. Хотя он хорошо помнил половинку луны – низко в окошке – в Надиной комнате, Надю и Жигалева в густой тени на постели. (Он даже не сразу и сообразил, кто на постели.) Помнил, как крикнул: «Я убил Утевкина». (Ни Надя, ни Сашок этого не слышали.) Он не мог оторвать рук от косяков двери и затем опрокинулся навзничь, сбитый Сашкиной головой в живот. Он помнил даже, как пронеслось в мозгу слово «осквернитель», и оно-то и кинуло его к дальнейшим неистовствам.

Видимо он не сразу выбрался из темного, заставленного

скарбом коридорчика. Он что-то ломал и швырял, покуда не выскочил в кухню. В темноте зажужжали разбуженные мухи. Он ударился коленом об угол плиты и ошупью схватил небольшой утюжок. Когда почувствовал в руке тяжесть выругался матерно и выбежал на улицу. Когда бежал, – помнит отчетливо, – в кармане были спички: постукивали в коробке.

.....

С л е д о в а т е л ь. Вы утверждаете, что до того момента, когда вы с утюгом преследовали Жигалева, у вас не было мысли о пожаре?

Б у ж е н и н о в. Может быть, я и говорил раньше «Хорошо бы этот городишко сжечь», – наверно, говорил...

С л е д о в а т е л ь. Значит, и раньше ваши мысли вертелись около пожара?

Б у ж е н и н о в. Я очень страдал от внутреннего разлада, то есть разлада между собой и обстановкой, куда попал. Мои навыки были только одни – война. Я мыслил, как боец: негодное – смести. Но после разговора с товарищем Хотяинцевым я успокоился. Начал работать, стремился подавить себя. Это мне удалось. Если бы тогда сказали: «Перестань существовать, так нужно обществу, революции, будущему», – я бы не дрогнул... Но меня поймали на удочку.

С л е д о в а т е л ь. Яснее.

Б у ж е н и н о в. Можно подавить в себе страх смерти, честолюбие, жажду жить... Животное благополучие... Все, что хотите... Воля верховодит надо всем... Я доказал это моею

жизнью, товарищ следователь. Но сколько бы я ни хотел – сердце мое будет биться так, как само хочет... Жизнь моего тела, вся до последних тайн, не подвластна мне... Когда мне вырывают сердце с жилами – все летит к черту... Вы спрашиваете: на какой я попался крючок?.. Любовь... На то, что мне не подвластно. Взбунтовались во мне соки жизни. Не знаю уж, какие там железы, какие токсины отравили мой мозг... Может быть, и так... Не знаю, я не физиолог... От меня отдирали с кровью, с мясом женщину, которую я любил; я даже не сознавал, как хотел ее. Начался бунт, я уже не управлял собой. Я ударил камнем Утевкина и почувствовал облегчение. Не знаю, правду ли пишут поэты про любовь, – того я не испытывал. Я горел три года в гражданской войне... Я горел и мучился два года в институте – видел во сне голубые города... Может быть, это была тоже любовь... не знаю... Но когда камень вонзился Утевкину в висок – мне на минуту стало легко... Если это – любовь, это – от любви, тогда будь она проклята. Простите, товарищ следователь, вы все хотите допытаться, откуда у меня в кармане очутились спички... Так вот, когда я увидел то, что происходило в комнате у Надежды Ивановны, – не знаю, как вам рассказать: в глазах у меня все заплясало, в глазах стало красно... И когда я с утюгом бежал за Сашкой, за осквернителем, и услышал, как дребезжат спички, этот красный свет превратился в мысль – сжечь все, сию минуту... Ах да, вы все про спички... Черт их знает, откуда они завелись... Должно быть, на дороге

поднял... Когда Утевкин упал, рука отлетела, и в руке была коробка спичек. Я схватил. Зачем? Зажег спичку и смотрел ему в лицо, долго смотрел, пока не обгорели пальцы...

С л е д о в а т е л ь. Итак, вы утверждаете, что подняли спички на дороге с целью осветить лицо убитого вами Утевкина, – показание весьма существенное, – и что заранее обдуманного намерения поджечь город у вас не было? Так?

Б у ж е н и н о в. Видите ли, товарищ следователь, все это частности. Теперь я думаю, что так или иначе – катастрофы было не избежать. Не Утевкин – так другой... Не пожар – так что-нибудь другое... Судите по существу, судите меня, а не какие-то там случайные поступки.

С л е д о в а т е л ь. Это вы будете говорить на суде. Теперь я прошу рассказать, что произошло с того момента, как вы выбежали из дома, держа в руке вот этот утюжок...

НОЧЬ С ТРЕТЬЕГО НА ЧЕТВЕРТОЕ ИЮЛЯ

Рассказ Буженинова запутан и противоречив. Беспомощны его попытки обосновать свое поведение. Здесь все нелогично. Он выбегает из ворот, размахивая утюжком, и уже через тридцать шагов не думает больше об осквернителе. Он во власти нового, огромного желания. Страсть в нем набегаёт волнами, покрывающими одна другую, все плотины прорваны, – теперь все возможно. Это начинается от мысли о спичках.

Буженинов останавливается с разбегу. Он даже завертелся в пыли на дороге и, насколько можно было разглядеть при неясном освещении, широко оскалился.

Луна в это время закатывалась в конце переулка. Желтоватый, над самой землей, свет ее падал на Сашку Жигалева, стоявшего на перекрестке, шагах в тридцати от дома. Тогда мысли Буженинова снова вернулись к осквернителю, и он стал подходить к нему, но уже не с гневом, а скорее с каким-то диким любопытством.

Сашка был очень зол и, когда увидел у Буженинова утюжок, решил расправиться без пощады. Он первый кинулся на Буженинова, свернул ему руку, вырвав и швырнув в сторону утюжок, и так плотно въехал Василию Алексеевичу ку-

лаком в глаз, что тот зашатался.

– Не лезь не в свою кашу, сопляк проклятый, выкидыш, здесь все равно тебе не жить, – сказал Сашка и вторым ударом сбил Буженинова с ног. После чего пошел по переулку не оглядываясь.

Василий Алексеевич на секунду потерял сознание от чужунного кулака. Но сейчас же приподнялся на руках и глядел, как в узком переулке, между двумя глянцевыми заборами, по длинным теням от репейников уходила черная Сашкина фигура, застилая луну. Поднимался ветер порывами, душный, как из печки, бросал Буженинову в лицо пыль и мусор. За рекой в непроглядной тьме мигнуло белое око молнии. Сашка обернулся и погрозил кулаком. Тогда Василий Алексеевич, прикрыв ладонью разбитый глаз, пошел за Сашкой по направлению к площади.

Это было опять-таки совершенно бессмысленно. (Следователю он объяснил так: «Если бы у меня обе ноги были переломаны – и тогда бы пополз за Сашкой».)

Ветер усилился. Зловеще, по-грозовому, в темноте зашумели деревья. Облако пыли закутало переулок... Сашка скрылся по направлению к площади.

Назавтра предстоял большой базарный день. Множество палаток с вечера уже было разбито вдоль городского сада, где махали ветвями, грачиными гнездами, гнулись вековые липы. Ближе к реке стояли воза с сеном. Пыль, сено и листья крутились над площадью.

Буженинов опять увидел Сашку на тротуаре под освещенными окнами «Ренессанса». Несколько человек, в том числе два милиционера, о чем-то с ним возбужденно разговаривали. «Это он Утевкина убил, – долетел Сашкин голос, – я его сейчас видел, у него вся рубашка в крови». Люди зашумели. Из окошек трактира высовывались головы любопытных, прикрываясь от пыли. Снова облако закрыло и людей и трактир.

Несколько секунд Буженинов стоял за углом. Быстро соображал, оценивал обстановку. История с Сашкой снова покрылась волной неистового желания. Он стучал зубами от нетерпения. Сквозь пыль багровая молния упала за речкой. Раскололось небо от грохота. Буженинов, нагнувшись, побежал через площадь к возам с сеном. В спину ему затрещали свистки. Ветер кинул обрывки голосов. «Вот он... Лови!.. Лови!..» Пронеслось над головой, должно быть, грачиное гнездо. «Ну и буря, гнезда летят», – мелькнуло в сознании. Он нырнул между возами, продираясь, рвал сено, лез под телегами. Присел, слушал, придерживая сердце... Справа, слева верещали свистки. Голосов было все больше... «Здесь он... не уйдет... шарь под телегой... сюда, ребята... забегай...» Должно быть, весь трактир кинулся в погоню, рыскал, порскал, шарил между возами.

Тогда Буженинов чиркнул спичку и сунул в сено. Загорелось несколько невинных стебельков и сухой листочек. Буженинов коротко вздохнул, протиснулся несколько дальше

и справа и слева от себя поджег сено. Подполз под телегами до наветренной стороны, где кончались воза, и там сунул в сено последний пучок спичек.

Между возами повалил белый дым. Буженинов отбежал, обернулся. Вырвалось пламя. Завыли голоса преследующих. В трех местах сразу поднялись огненные шапки. Ветер приямл их, разнес, и огромным столбом красного огня занялись десятки возов. Огонь бросался в тьму бешено летящего ветра и развеивался. Искры, пучки горящего сена полетели над городом. Забил набат. Осветились размахивающие вершинами деревья и туча грачей над ними.

Буженинов стоял на скамейке, на бульваре над обрывом, и глядел на то, что сделал. По городу уже в нескольких местах выбросилось пламя. Деревянные крыши, заборы, одинокие деревья, скворечни выступали все яснее из темноты, заливались диким светом. По всей торговой площади плясало пламя. Как живые, шевелились, пылая, лотки и палатки, свертывались, падали. Сквозь крышу «Ренессанса» просвечивали раскаленными угольями стропила. Густой дым валил от пожарной каланчи.

По бульвару бежали женщины с узлами, плачущие дети. На Буженинова не обращали внимания. Дурным голосом кричала женщина, плача упала на землю. Пробежал, подняв руки, бородатый человек в подштанниках. Кого-то пронесли, положили под деревом. Все это происходило перед глазами Василия Алексеевича будто не настоящее, будто его фан-

тазия, будто цветные картинки на полотне кинематографа. Несомненно, ум его в эти минуты помутился.

.....
.....

Город пылал теперь целыми кварталами. Бульвар опустел – здесь от жара нельзя было оставаться. Но Буженинов стоял на скамье и глядел.

Во всех показаниях Буженинова в этом месте – провал, пустота. Он ничего не может вспомнить, кроме мучительного чувства какой-то боли в мозгу при виде телеграфного столба, с висящими по обеим сторонам проволками, на площади среди догорающих балаганов.

Им овладевает настойчивая идея. Трудно понять, как он мог пробраться через пылающие кварталы к своему дому. Здесь он помнит, как влез через окно в столовую и сорвал со стены план голубого города. Крыша дома уже пылала.

Через выгон и старое кладбище он вернулся на бульвар. Это было уже под утро. Вместо базарной площади – широко кругом дымилось черное пожарище, торчали обгоревшие трубы, валялись листы железа, и одиноко над пеплом стоял телеграфный столб с повисшими проволоками.

– Товарищ следователь, уверяю вас, в эту минуту меня охватило чувство восторга и острой печали: я был один среди пустыни. Страшное ощущение себя, личного своего Я – этой буквы, стоящей лапками на горячих угольках и круглым завитком – в тучах, в утренней заре. Иногда теперь мне жут-

ко сознавать: всегда казалось, что себя утверждаешь в творчестве, в созидании. Я же – вы видите, в чем... Или я чего-то не понимаю?.. Винта у меня какого-то нет?.. Или живу я в иное время – неизведанное, незнакомое, дикое?.. Или прав товарищ Хотяинцев?.. Не знаю... Но я честно вам все рассказал... А план голубого города я должен был утвердить на пожарище поставить точку...

Держа полотнище в зубах, Буженинов полез на столб, но сорвался и потерял сознание. Дальнейшее известно. Следствие по этому беспримерному делу закончено.

Буженинов Василий Алексеевич предстает перед народным судом.